

Могила неизвестного зэка

Григорий Померанц

Творчество Шаламова — один из ответов на вопрос, чем может быть искусство после Аушвица, Воркуты, Колымы? Ответ этот не изгладится ни из истории русской литературы, ни из мировой истории. Это свидетельство, которое до сих пор не до конца прочтено, свидетельство, адресованное каждому человеку на земле, на одном уровне с книгой «Ночь» — об Аушвице (Освенциме). И прежде всего — каждому гражданину России, не лишенному гордости и стыда за свою родину. Ибо патриотизм — это единство гордости и стыда. Гордость нашей страны

— неслыханное напряжение сил народа, выдержавшего на своих плечах тяжесть четырех лет войны. И стыд — то, что почти все население страны закрывало глаза на аресты и расстрелы ни в чем не повинных людей, на разрушения, вызванные террором в гражданском и военном управлении — и послушно повторяло сказки о врагах народа. Стыд нашей страны, что она поверила в Сталина, чуть не впустившего немцев в Москву, как в архитектора победы, поверила со страху, боясь подумать, сопоставить факты, поверила в чудовище, питавшееся ароматом человеческих страданий, поверила как в бога, обожествила одно из самых полных и подлых воплощений дьявольского в человеческом образе. И до сих пор половина народа считает, что победа все оправдала, победа все списала и нам нужен новый Сталин. Стыд, великий стыд и великий грех. Стыд, что мы не учимся на опыте немцев, не хотим вдуматься в процесс нравственного возрождения Германии, начавшегося с методического разрушения авторитета Гитлера, с настойчивого, многолетнего, ежедневного и еженедельного рассказа о гитлеровских зверствах и переключения немецкой гордости с военных побед на радость от простого доброго дела. Стыд, что дьявольский соблазн не разрушается в школах, с первого до последнего класса.

Сталин и его соучастники мертвы, но пока мы сами миримся с тенью Сталина, с величием его подлости, коварства и массовых убийств, наша страна остается нравственно больной и экономически неустойчивой, лишенной доверия к партнеру в хозяйственных соглашениях, страной, где вор у вора дубинку крадет.

Один из путей к выздоровлению — память о жертвах сталинских застенков, разворачивание пружин страшного опыта в сердцах людей,

обреченных Сталиным на многолетнее умирание, на подобие средневековой «тысячекратной казни». Но можно ли писать о чудовищном, не нарушая литературных канонов?

Об этом спорили между собой два колымчанина — Шаламов и Демидов. Демидов считал возможным выбирать случаи, когда гибель заключенного становилась трагическим апофеозом. Шаламов возражал, что опыт Колымы не допускает катарсиса, очищения души страхом и состраданием. Духовная смерть заключенных, мозг которых был иссушен голодом, часто опережал физическую смерть; люди в мессе своей умирали сломленными, без сил подняться, с одной мыслью о куске хлеба.

Демидов доказал свою правоту делом. Уцелела пара его рассказов, где люди успевали что-то крикнуть перед смертью. Но Шаламов тоже доказал свою правоту. Его новеллы похожи на показания свидетелей обвинения в процессе, который до сих пор не доведен до конца. Но свидетельства эти нетленны, и они еще будут выслушаны. Они остались в искусстве слова как стиль, достойный эпохи. Пусть поэтика Шаламова не укладывается в канон Аристотеля. Есть и другие поэтики. Шаламов иногда очень близок к Беккету. Шаламов сам мог бы написать: пустое небо, каменная земля, сжавшийся человек.

Совершенство слова незримо веет здесь над отчаяньем. Шаламов убирает все, похожее на литературность, она вымерзла в холодном Освенциме, она невозможна в разговоре об Аушвице, Воркуте, Колыме. Внешние приметы художественности доведены почти до нуля. Метафоры шаламовской прозы — естественная образность языка. Они не производят впечатления украшенной речи, не задерживают внимание на эффектном обороте. Целое полностью господствует над частностями, и каждое слово просто ставится на свое место, — так, как Ахматова объясняла тайну своего стиля. Люди гибнут без поэтического взлета, но дух поэзии остается в суровом лаконизме языка, в классическом языке новеллы, где чувство всегда скрыто за фактами и искусство — за расположением фактов. У Демидова иногда заметно, что ему хочется что-то сказать, а повествование Шаламова как бы само собой сказывается. Это искусство особого жанра, жанра новеллы-свидетельства. Каждый рассказ — юридический документ, и каждый документ — образец новеллы. Их сдержанность в разговоре о неслыханном и чудовищном делает свидетельство еще сильнее. И когда автор тетяет свою сдержанность и кричит — этот крик тоже свидетельство.

Русская литература на вершинах своих, в XIX веке, не единожды отходила уже от эпического беспристрастия. А в XX веке литература вся вырывается за рамки классики... Закричал Мандельштам. Закричала Цветаева:

Пора, пора, пора Творцу вернуть билет!

Закричала и Ахматова, которую всегда противопоставляли Цветаевой:

*Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад,
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград...*

И когда Шаламов пишет, что хотел бы быть обрубок и плюнуть в красоту, — это смотрится в рамках эпохи, когда были написаны «ШерриБренди», «Квартира тиха, как бумага» и другие, совсем безумные стихи Мандельштама.

Проклятия не могли не вырваться из уст Иова. Проклятия приводили и будут приводить в ужас богословов, знающих умом все, что следует. Но Бог осудил не Иова, а его друзей, не сумевших разделить муку Иова и по Писанию возложивших на Бога ответственность за каждый волос, упавший с человеческой головы. Именно это богословие встало стеной между Шаламовым и Богом; богословие, которое после Освенцима и Колымы обязано было измениться. Между отрицанием богословия и утверждением культуры (где неизбежно всплывали библейские и евангельские образы) возникло поле напряжения, и какие-то огоньки веры могли там вспыхивать. Вспыхивать и гаснуть. Ибо маленький огонь ветер гасит и только большой огонь раздувает. А колымский лагерь смерти задувал почти все огни.

Шаламов чувствовал Божий след в кусте стланика, поднявшемся к свету, но не мог найти его в оборотнях, называемых людьми, в существах без человеческого сердца, охотно, со вкусом топтавших «врагов народа», отданных им на расправу. Их он ненавидит, им он не прощает.

Я немного знал Шаламова в жизни, помню его облик, не очень похожий на артистов, но шапочное знакомство не дало мне никакого знания его внутренней жизни. И сейчас я вижу Шаламова именно таким, каким он сыгран в фильме «Завещание Ленина». И этот образ встает передо мной, как ожившая память сотен тысяч, медленно угасавших на Колыме. Фильм сотворил им вечную

память. И до нас дошла их воля — возжечь вечный огонь над могилой неизвестного зэка, одного из многих и многих, просто падавших на пути, как в стихах, которые я запомнил из самиздата, не зная имени автора — и цитирую по памяти:

*Я поднял стакан за лесную дорогу,
 За падающих в пути,
 За тех, кто идти по дороге не может,
 Но их заставляют идти.
 За их помертвелые, синие губы,
 За одинаковость лиц,
 За рваные, инеем крытые шубы,
 За руки без рукавиц.
 За чарку воды, за консервную банку,
 Цингу, что навязла в зубах,
 За зубы будящих их всех спозаранку
 Раскормленных ражах собак.
 За пайку сырого, липучего хлеба,
 Проглоченную второпях,
 За бледное, слишком высокое небо,
 За речку Али-Урях.*

Умер на Владивостокской пересылке Мандельштам. Расстрелян Клюев. Умер в тюрьме Вавилов. Едва не умер от пеллагры ТимофеевРесовский, только в последний миг нашел его, в недрах собственного ведомства Завенягин, два года искавший всемирно известного ученого для продолжения его научных работ. Едва не погиб академик Конрад, тянувший срок дневальным в Каргопольлаге, пока не понадобился в институт военных переводчиков — после конференции в Ялте, обязавшей Советский Союз выступить против Японии. Это короткий список, сходу пришедший мне в голову. Другие, менее крупные имена, и имена молодых, не успевших развернуться, никто не помнит. Они просто падали по дороге, и их пристреливали, как выбившуюся из сил собаку.

Демидов уцелел на Колыме, но архив его был изъят, и только немного опубликовано. Расхождения его с Шаламовым не очень велики. У них гораздо больше общего — в судьбе и в осмыслении ее. Эта общность связана с чертами того культурного слоя, который в 20е годы еще не был полностью разрушен: подавленное, но внезапно прорывающееся чувство собственного достоинства, отсутствие самого вопроса о хороших и плохих народах, который ставится, хотя

очень мягко, уже в «Одном дне из жизни Ивана Денисовича» и далее — во всем творчестве Солженицына.

Россия для Шаламова — культура, а не племя. Одна из редких радостей на Колыме — встреча с человеком, который помнит стихи Пастернака, прозу Бунина. Это его духовные земляки. И горечью на долгожданной воле были встречи с молодежью, усвоившей сталинскую антикультуру, сталинское деление на народ (трепетавший от любви к вождю) и врагов народа. Единственный народ, который Шаламов ненавидел, — это воры, ставшие союзниками плачей.

Некоторые интеллигенты, отбывавшие срок в других лагерях и в другое время, идеализировали воров, дружили с ними (об этом — в воспоминаниях Копелева). Но на Колыме воров сознательно использовали, чтобы унижать и уничтожать людей, сохранивших честь и достоинство. Можно считать неразумным напряженную ненависть к орудиям сталинского садизма. Ненависти скорее достойны те, кто этими орудиями ворочал. Но так рассуждать удобнее в кабинете. Палач всегда ненавистнее, чем судья, вынесший приговор. Мечь вообще нелепа, она только продолжает и увековечивает зло. Но сова Минервы вылетает в сумерках, а не в миг, когда тебя топчут ногами.

Разум бывает хитер. Сталин умер, а дело его живет. Блатной мир, раскормленный в лагерях, вышел сегодня за зону, разлился по всей стране. Он достиг небывалой власти и влияния. Блатные нравы, вкусы, словечки усваиваются журналистами, банкирами, депутатами. Черное слово, которого Шаламов избегал, засорило язык. И страницы Шаламова, окрашенные ненавистью к ворами, звучат сегодня с неожиданной силой. Это не только вопль больного человека. Это пророчество, опередившее свое время.

Горбачевские чтения. Выпуск.5. М, 2007. С.226-230